

Оглавление

Часть первая

5

Часть вторая

379

Часть первая

1

Пластмассовый щелчок — резкий, как выстрел.
Клавиша упрямая, но палец отца упрямее.
Свет яростно залил комнату, не давая темени ни
малейшей надежды укрыться под кровать, или за-
биться в уголок, или притаиться в складке одеяла.

— Рота, подъём! — в отцовском зычном голосе
плеснулась весёлая власть.

«Первый возглас, репетирует...» — подумал
Лука, не шевелясь.

Тимоша вскочил, как будто и не спал.

— Доброе утро, — пискляво-ласковое, и маль-
чик зашмякал пятками по полу. — С праздником!

— С праздником!

«Благословляется», — понял Лука, не размы-
кая век, которые кололо электричество, и слыша,
как отец бормочет благодушно: «Во имя Отца
и Сына...» и чмокает младшего в макушку.

— А с этим что?

— Он опять всю ночь читал, — Тимоша принял тот же насмешливый тон. — Я в три проснулся, специально на часы посмотрел, он ещё не спал... Говорю: «Лука, ты утром не встанешь».

Лука услышал, как приближается отец. Сейчас нагнётся, поцелует, щекоча мокрой бородкой, или начнёт слегка тормошить под хихиканье брата.

Он нехотя сел на кровати с закрытыми глазами и потянулся.

Он тянул руки вперёд со сжатыми кулаками, словно упираясь в невидимую стену.

Он знал всё, что сейчас увидит, открыв глаза.

Увидит, как улыбается отец, бодрый и прямой, русые, сырые, зачёсанные назад волосы, хвостик, перехваченный резинкой: ни одного седого волоска, хотя ему скоро пятьдесят. Длинное тело одето в чёрный подрысник с узкими рукавами; улыбаясь, он поводит плечами, как будто ему тесно. Папа худой. Он говорит, что священники бывают или худые, или толстые, потому что подолгу стоят и это влияет на обмен веществ.

Брат, голоногий худыш (может, тоже потому что много стоит на службах), в белых трусиках и белой маечке, с показной ловкостью заправляет и ровняет постель.

Комната — та же, что и всегда. Старый разохшийся книжный шкаф, забитый до отказа, икеевская мебель: шкаф для одежды и друг против друга две кровати. По углам комнаты два одинаковых письменных стола, между ними — окно. На столе

Луки, кроме ноута и мобильного, куча книг и тетрадей и белые спутавшиеся провода зарядок («Змеиное гнездо», — шутит папа).

На стенах — иконы, а в правом углу над кроватью Луки — деревянное распятие и вечно горящая лампадка.

У брата над изголовьем кнопкой приколот его детский рисунок: огромный жёлтый солнечный круг с красными буквами «ХВ» испускает во все стороны красные молниевидные лучи-стрелы, на которые наколоты коричневые рогатые и хвостатые фигурки бесов, замершие в мучительных изломах и изгибах.

Это Тимоша нарисовал в подарок родителям, однажды на Пасху.

Лука в детстве тоже много такого рисовал...

Он открыл глаза и, продолжая потягиваться, с вялой улыбочкой слабо махнул отцу, не торопясь вылезать из-под одеяла, силой воли утихомиривая неизбежную утреннюю проклятую тугую тяжесть. Лишь бы прыткий братик не подскочил и не сорвал покров...

Братик был занят: автоматически, как будто делая зарядку, крестился и кланялся, касаясь рукой пола, и негромко творил утреннее правило.

В приоткрытую дверь, боднув её и расширив проход, вбежала трёхцветная кошка Чича.

«Угаси разжение восстания телесного», — мысленно попросил Лука, зависая в облаке молитвенной фразы, и это сразу помогло.

Откинув одеяло, он нашарил тапки и шагнул под благословение.

— С праздником...

— С праздником...

Они порывисто расцеловались, троекратно. Влажные скулы отца освежали и бодрили. Кошка тёрлась об их ноги, кружа, мурлыча и пытаясь оплести собой.

— Молиться и мыться, — ласково сказал отец коронную фразу, в смешке его торжествовала всё та же весёлая власть, и вышел из комнаты.

Лука схватил подушку и швырнул в брата. Тот вскрикнул, жалобно, как подбитая птица.

Они пошли умываться. В пластмассовом стаканчике рядышком пёстро стояла вся их семья: две щётки — мамина, белая, и папина, синяя — уже мокрые и распушённые. Братья взяли свои: Лука — зелёную, Тимоша — красную, и начали чистить зубы: Тимоша над раковиной, Лука над ванной.

Он нагнулся и подставил рот под прохладную сильную струю воды, словно с ней целуясь, вымывая пену пасты, ополаскивая всё лицо, жмурясь от брызг. В голове крутилась почему-то песенка на английском: "I've been drinkin', I've been drinkin'..."

Ему мнилось, что вода подыгрывает и подпевает чернокожей завывающей девице.

Тимоша как всегда прополоскал рот из чашки с кипячёной водой, он тщательно сплёвывал снова и снова и косился на брата, присматриваясь к шевелению его губ и горловым движениям.

— Эй! Ты чё?

Лука не слышал, упоённый шумом воды и внутренней песенкой. Пристальные глаза Тимоши обильно расширились, он тронул брата за плечо.

Лука вопросительно смотрел на него вполоборота, продолжая целоваться с водой.

— Ты чё, глотаешь, что ли?

— Не глотаю, не ори! — Лука резко выключил кран и распрямился.

— Я видел, ты пил!

— Отстань!

— Я всё папе расскажу!

В ванную заглянула мать, нарядная, в шерстяном шоколадном платье и шёлковом голубом платке:

— Доброе утро, зайчики! С праздником!

— С праздником! — ответили разом оба, и тут же Тимоша возбуждённо продолжил:

— Он воду глотает.

— Я не глотаю... — Лука, комкая полотенце, утирал лицо.

Они были приучены не пить ни капли до причастия.

За спиной матери выросла фигура в подряснике:

— Что там у вас?

— Ничего, пап, — Тимоша уже звучал умильно, — поторапливаю его.

— Ты и себя поторопи! Выходить пора! Надя пишет, пробки везде...

Отец умел водить, но его возили — во избежание искушений, как загадочно говорил он сам. Лука ча-

сто воображал эти искушения, способные встать на пути священника, спешащего на литургию. Шаткий прохожий, всю ночь пробухавший, тенью скользнёт под колёса. Визг тормозов, общий крик... Неподвижное тело, из-под которого расплзается лужа крови, в свете фар похожая на вино. А священнику кровь нельзя проливать. Нет, отцу было не до дороги, он, посуровев, готовился к службе и читал каноны из маленького ветхого иерейского молитвослова, надвинув на брови бархатную лиловую скуфейку.

За рулём как всегда сидела Надя, бледно-прозрачная блондиночка, миловидная вредина.

Охранница Каддафи — называл её про себя Лука, где-то вычитавший, что ливийского правителя охраняли боевые девственницы.

Надя была родом из Обнинска, там жили её родители, с которыми, как слышал Лука, она почти не общалась: они были нецерковными, переживали, что потеряли дочь и у неё нет личной жизни.

Когда-то Надя училась в Гнесинке, пришла петь в хор, быстро втянулась и решила посвятить всю себя батюшке. Лука не знал, сколько ей точно лет — могло быть тридцать, могло быть больше, — но выглядела она по-дюймовочьи юно и со временем не менялась, только подсыхала, черты её заострялись, и в этой законсервированной детскости он подозревал какую-то патологию.

В Москве Надя обитала в одной из комнат храмового дома причта. Когда Артоболевские переезжали на дачу, жила с ними.

В жизни Луки одновременно с матерью постоянно присутствовала и мачеха. Лука знал и чувствовал, что она не любит маму, и это взаимно, но ещё больше Надя не терпела других прихожанок. На самом деле мачех было несколько. За внимание отца Андрея и возможность опекать его быт боролись и соперничали. Ещё недавно ближайшей помощницей была Зина, которая потом обиделась на что-то и ушла из прихода.

С Зиной братьям приходилось нелегко, но Надя не жаловала их ещё больше, то обидно поучая, то подкалывая, то закладывая из-за любой провинности. Они платили ей тем же и, если у неё случался какой-то раздор с отцом, умело раздували ссору, стараясь вывести её из себя.

— Не долби, — потребовала Надя от Тимоши, который коленом нервно ударял по её креслу.

— Я не долблю, — возразил мальчик, снова стукнув.

— Тимофей! — отец Андрей обернулся к сыну, и тот испуганно замер.

2

Артоболовские жили на Таганке.

Миновав высотку на Котельнической, машина проползла по набережной вдоль стены Кремля, обогнула Боровицкий холм и, скользнув ближайшими переулками, остановилась в Староваганьковском.

Храм Святителя Николая, где отец Андрей служил одиннадцатый год, затерялся в самом центре города, заслонённый пышным, как свадебный торт, Домом Пашкова.

Надя высадила их у входа и повела машину чуть дальше, чтобы загнать в железные ворота, которые побежал открывать Тимоша.

В это апрельское утро храм казался только что нарисованным на сером ватмане, со своими жёлтыми стенами и железным светло-зелёным куполом. Он был влажен от тонкой мороси и недавно сошедшего снега, и влажно было всё вокруг — небо, асфальт, припаркованные машины, плитка тротуара, высоченная бело-серая каменная ограда с арочным входом. Фреска на храмовой стене ярко манила и будоражила непросохшей краской: сорок — Лука недавно пересчитывал: сорок ровно — обнажённых, в разноцветных набедренных повязках смуглых мучеников на ультрамариновом фоне.

Мама раздала деньги извечным нищим у калитки и поспешила к дому причта — проверить готовность праздничной трапезы.

Лука задумчиво следовал за отцом по кровавому, тёмному от сырости ковру, протянутому из открытых дверей храма до самой улицы. Ковёр для архиерея.

С порога их окружил строгий, глубоко въевшийся душноватый аромат, как будто эти лоснящиеся стены были не из мрамора, а из смёрзшегося ладана.

Они сняли верхнюю одежду в закутке, за свечным ящиком. Лука сменил ботинки на лёгкие штиблеты, любовно обитые мамой войлоком.

Обычно отца пытались задержать разговорами и просьбами, но в этот раз прихожане его не трогали — он стоял и негромко беседовал с людьми, которые сопутствовали высокому гостю.

Архиерея ещё не было, а они уже прибыли и облачились: несколько иподьяконов, дьякон и командующий парадом — горбоносый протоиерей с длинными волосами. «Архиерейская сволочь», — называл их папа шутливо за глаза. Так в старину говорили про тех, кого волок за собой архиерей.

Эти люди источали высокомерие и силу. Особенно Луке не понравился долговязый иподьякон, лет на пять его старше — тонкие губы, аккуратный пробор, — который секундно глянул на него и презрительно сморгнул.

Лука пошёл к алтарю бесшумным шагом по мраморным полированным плиткам.

Он шёл, чую сладостный цветочный запах: крупные лилии сочно белели из высоких керамических ваз рядом с иконами... От этих цветов белоснежные своды и стены казались блее обычного.

Вообще, Лука мог бы пройти по храму с закрытыми глазами.

Он знал и помнил всё: заупокойный золотой Канон, где свечи шепчутся и тают отлетающими душами, и тусклый образ Богородицы в глубине киота, и мозаику, выложенную цветными острыми

камешками в другом, малом, затенённом сейчас приделе, — смиренные Борис и Глеб на вздыбленных конях... И редкие — сумрачными проталинами — старинные росписи на выбеленных сводах. Лука с детства мог показать, где кто изображён, и рассказать историю каждой фрески.

Он шёл параллельно ковровой дорожке, которая достигала середины храма и покрывала квадратное возвышение — кафедру, предназначенную для архиерея, с седалищем без спинки, обитым багряным бархатом.

Уже на солее кто-то резво пырнул его пальцем в спину. Понимая, что это подоспел Тимоша, и не оборачиваясь, Лука надавил на дверь алтаря.

В алтаре они, размашисто крестясь, троекратно, соперничая в скорости и не уступая друг другу, сотворили земные поклоны.

— И укрепи мя в предлежащую службу Твою, да неосужденно предстану страшному престолу...

Снаружи, со стороны царских врат, доносились входные молитвы, которые наборматывал отец, вышедший на солею.

— Простите меня, отцы и братия! — выдохнул он сокрушённо, и ответом ему, как всегда, был расстроганный ропот прихожан.

Он влетел в алтарь, обдав сыновей тёплым воздухом, расцеловал престол и, расстегнув пуговицу на вороте, сбросил рясу на руки подскочившему к нему седому пономарю Степану.

Отец принялся торопливо облачаться, тихо молясь и целуя отдельные части одеяния.

Облачение было голубым, как и полагалось в Богородичный праздник.

Лука и Тимоша тоже сняли с вешалок пошитые по их росту, приятно скользящие и прохладные стихари и уложили на столике: сначала заломив крылья рукавов, потом дважды сложив пополам и сделав похожими на пышные пироги.

— Благослови, владыка! — вырвался первым Тимоша.

«Это не игра», — порой серчал отец, заметив, что они соревнуются, кто будет первым, но сейчас он безмолвно рассёк воздух красиво сложенной десницей, опустил её на крест, белевший поверх тканого пирога, и мальчик чмокнул родную руку.

Тимоша с вызовом глянул на брата и бросился в пучину стихаря. Запутавшись в рукаве, чуть его не порвав, он тут же вынырнул из ворота, гордо разглаживая складки и одёргивая полы, маленький и рыжий. «Неужели ему уже двенадцать?» — подумал Лука, безучастным видом показывая, что не собирается спешить.

Он ещё повременил и привычным движением погрузился в своё ангельское облачение, пронизанное острыми солнечными нитями и местами заляпанное воском.

Обычно до начала службы сыновья исповедовались отцу, который был им ещё и отцом духовным.

Тимоша отчитался, как обычно, кратко и шёпотом, на ухо папе, низко склонившему голову. Лука стал плести чепуху, что-то пустое — гордыня, долгоспание... — в который раз желая сказать другое, мучительно важное, но не говоря. Он скрыл грех. Опять обманул отца. И отошёл, притворно беззаботный.

Они даже не заметили, как в алтаре возник ещё один человек в подряснике. Он уверенно проследовал к престолу, приложился к его краю и, развернувшись, направился к настоятелю.

Лука смотрел на него с любопытством: невысокий и плотный, вьющаяся чёрная борода, круглая, почти лысая голова, сумрачные глаза с тёмными кругами.

Отец Андрей предупредительно потянулся к человеку навстречу, и тот облобызал его.

Понизив голос, принялся что-то доверительно рассказывать, как будто тоже каялся. Донесли слова: «монах, монастырь...»

Луке показалось, что от повыцветшего подрясника, залатанного на рукаве лиловыми нитками, пахнет палёным.

— Понимаете, вы в такой день к нам попали, — с неловкой улыбкой разъяснял отец. — Не только праздник, но и архиерейская служба. Но вы не уходите, вы тут постоитесь, помолитесь, а после литургии приходите к нам на трапезу, поговорим...

— Спаси Христос! — монах широко улыбнулся, так что в глазах его глаз возникли острые лучики морщинок.

— Едет! — в алтарь ворвался долговязый иподьякон и потряс над головой мобильником.

Весть вмиг облетела храм: заволновались и загудели прихожане.

Лука и Тимоша переглянулись, по-братски стукнули кулаком о кулак и заспешили за отцом, поведшим отряд в облачениях сквозь народ — по ковровой дорожке.

На улице было по-прежнему гадко и ветрено, в сыром воздухе мелькали колючие брызги, но казалось, всё расцветивает невидимая краска праздника. Луку и Тимошу вечно утепляли, в такую погоду запрещали ходить без шапки, но только не сейчас. Бог ведь не попустит простыть своим служителям, так же как нельзя заразиться, причащаясь с чумным из одной чаши. Братья ёжились в тонких стихарях, но этот холод ожидания бодрил мышцы и подстёгивал нервы.

Под торжественный перезвон колоколов остановилась чёрная машина, из нее выдвинулся посох, ощупывающий тротуар, показался чёрный клобук, и постепенно выбрался владыка целиком. На груди у него раскачивалась панагия — круглый медальон с иконкой Богородицы. Это был грузный человек, на вид гораздо старше их отца, с щекастым бледным лицом, сужавшимся книзу, и длинной узкой посеребрённой бородой.

Несколько девочек в белых и голубых платочках, дочки прихожан, робко протянули ему каждая по лилии, которые он, благосклонно улыбаясь, передал